

66 ДНЕЙ ДО ЖИЗНИ



АЛЕКСЕЙ ЧЕРНОВ

Алексей Чернов

66 дней до жизни

<https://litres.ru/72441679>

SelfPub; 2026

Аннотация

Две пули в живот, семь ударов штыком, выстрел в голову и снятые мародерами сапоги. По всем законам медицины и войны сапер Дмитрий Яблочкин был мертв. В родном батальоне его уже вычеркнули из списков живых, а немцы бросили тело в лесной воронке у пущенного под откос эшелона.

Но он открыл глаза и принял свой самый страшный бой. Зашив рваные раны цыганской иглой погибшего друга и запечатав их сосновой смолой, бывший лесник уходит в глухую чащу вражеского тыла. Впереди 66 суток ледяного ада: босиком на декабрьском снегу, без оружия, огня и крошки хлеба, один на один с немецкими патрулями и голодными волками.

Выстоять там, где не выживает никто, ему помогут только давние уроки отца да память о жене, которая вопреки похоронке каждый вечер ждет его на родном крыльце.

Основано на реальном подвиге, поразившем фронтовых хирургов. Жесткая, честная и пробирающая до мурашек история, от которой невозможно оторваться.

Содержание

Глава 1. Запах сосны	5
Глава 2. Железный бор	14
Глава 3. Последнее задание	25
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Алексей Чернов

66 дней до жизни

Лес дал ему жизнь.

Война пыталась ее отнять.

*И тогда он вернулся в лес, чтобы
забрать свою жизнь обратно*

Если бы эта история не сохранилась в пожелтевших листах архивных сводок и госпитальных картах сорок третьего года, в нее невозможно было бы поверить. С точки зрения медицины и простого здравого смысла этот человек был мертв. Две пули в живот и поясницу, семь глубоких штыковых ран, сорванный выстрелом в упор висок, перебитые прикладами ребра и шестьдесят шесть суток в глухом, заваленном снегом вражеском тылу. Босиком, без огня, без крошки хлеба и единого бинта.

Когда вчитываешься в скупые строчки старых документов, внутри сам собой встает вопрос: за счет чего вообще держится человек, когда смерть уже списала его со счетов? Где проходит тот последний рубеж, за которым кончается слабость плоти и начинается что-то другое? Животный инстинкт? Крестьянское упрямство? Или память о теплых женских руках, невыплаченный долг перед погибшими ребятами и та древняя, кровная связь с родной землей, которую не выжечь никаким железом?

Эта книга — не просто рассказ о том, как выжить за гранью возможного. Это история о том, как дикая природа, ставшая на войне безжалостной ловушкой, вдруг оборачивается единственным союзником. О том, как тихие отцовские уроки из мирного детства становятся оружием страшнее крупнокалиберного

пулемета.

Это художественная повесть, но написана она с низким поклоном реальному подвигу младшего сержанта Дмитрия Ивановича Яблочкина и миллионам других солдат, чья безвестная, ежедневная борьба за каждый вздох была не менее великой, чем штурм самых неприступных высот.

Глава 1. Запах сосны

Июнь 1938 года. Хреновской бор, Воронежская область.

Лес встретил Дмитрия густой, настоявшейся тишиной. Стоило сделать десяток шагов с раскаленной степной опушки под сень вековых сосен, как уши заложило, будто нырнул с разбегу в глубокий омут. Весь шум огромного внешнего мира, далекое тарахтение колхозного трактора за яром, ленивый скрип тележной оси на большаке и перекличка баб у колодца в Верхнем Икорце, разом оборвался, увязнув в мягком, пружинящем ковре из рыжей опавшей хвои. У бора был свой голос. Где-то в самой вышине, в бронзовом переплетении верхушек, размеренно и деловито долбил сушину дятел. Потрескивала, нагреваясь на утреннем солнце, толстая чешуйчатая кора. В прохладной низине, раздвигая тугие, ярко-зеленые кольца молодого папоротника, сухо шуршала ящерица.

Дмитрий остановился, прикрыл глаза и глубоко, всей грудью потянул воздух. Для него лесной дух был вернее любой

карты и надежнее компаса. Пахло прогретой после ночного дождя супесью, сладковатой прелью прошлогодней листвы и, конечно, сосной, той самой горячей янтарной живицей, что густо сочилась по стволам. Этим горьковато-терпким воздухом было пропитано всё его детство, вся его жизнь. Завяжи ему глаза и закружи на месте, он бы по одному дыханию определил, в каком квартале стоит. Здесь, у старого глинистого оврага, в смолистый зной вплеталась прохладная сырость родников, грибницы и медовой таволги. Чуть дальше, в сторону Боброва, где лес редел и уступал место песчаным буграм, ветер нес сухой, пряный дух чабреца и полыни. А в низинах у лесных озерцев пахло стоячей водой, ряской и ольховой корой.

Он присел на корточки и положил широкую мозолистую ладонь на ствол кряжистой сосны-великанши. Кора под пальцами была теплой, шершавой, изрезанной глубокими трещинами, точно лицо старого деда. Он помнил эту сосну еще с тех пор, когда бегал сюда босоногим пацаном и не мог обхватить ее даже втроем с друзьями.

— Здорово, старик, — негромко сказал он вслух.

В кроне мягко, будто в ответ, качнулась тяжелая ветка. Здесь, в своем обходе, он не был просто двадцативосьмилетним лесным сторожем Дмитрием Яблочкиным. Здесь он был частью чего-то огромного, древнего и настоящего. Он был дома.

— Опять с деревьями балакаешь? — раздался за спиной

глуховатый голос с доброй хитрецей. — Гляди, Димка, услышит кто из чужих и решат, что молодой лесник у нас умом тронулся.

Дмитрий усмехнулся и, не оборачиваясь, поднялся на ноги:

— С ними толку больше, батя. Они хоть зря не брешут, как иные говоруны у нас в сельсовете.

Иван Тимофеевич Яблочкин подошел бесшумно, так что сухая ветка под его подшитым дегтярным сапогом даже не пискнула. Был он невысок, широк в кости, с густой, уже тронутой желтоватой сединой бородой и лицом цвета старой дубовой коры, продубленным степными суховеями и зимними стужами. От отцовской холщовой рубахи всегда пахло одинаково: сосновой стружкой, печным дымом и крепким махорочным самосадом. Старик остановился рядом и коротко кивнул на чуть приметную звериную тропу, уходившую в чащу бересклета:

— Ну? Что скажешь?

Дмитрий шагнул к тропе и опустился на одно колено. Кончиками пальцев он тронул примятую траву и свежий надлом на кусте, где еще блестела капелька сока.

— Чужой шел. Перед самым рассветом, по росе, — уверенно проговорил он. — Не наш, не икорецкий. Наши так пятку не ставят. Гляди сюда: сапог фабричный, каблук на правом сбит наружу. Шел грузно, носок в песок вдавливал. Значит, на горбу что-то тащил.

— А еще? — Иван Тимофеевич прищурил выцветшие, но цепкие глаза.

Дмитрий помолчал, всматриваясь в полумрак подлеска.

— Трусит он, батя. Оглядывается часто, шаг рваный. Ветку плечом задел и не заметил, муравейник краем сапога сбил. Чужой он тут. На кабаньем лазу петли ставил, не иначе.

Отец одобрительно крикнул в бороду:

— Глаз у тебя чистый, сын. Я эту грамоту полжизни по крупичкам собирал, а в тебе она будто с молоком матери села. Пошли, снимем его художества, пока зверя не загубил.

Они двинулись вдоль оврага след в след, споро и без лишних слов, как ходят только люди, прожившие бок о бок всю жизнь. Отец шел первым, чуть ссутулившись, раздвигая ветки шершавой ладонью. Глядя на его выгоревшую на лопатках рубашку, Дмитрий вдруг вспомнил себя десятилетним мальчишкой. Они тогда впервые заночевали вдвоем на дальнем кордоне, в глухой сосновой крепі. Ночью поднялся ветер, лес загудел, застонал, и маленькому Димке стало так жутко, что он прижался к отцовскому боку. А отец тогда положил ему на макушку тяжелую горячую руку и сказал в темноту: «Ты, сынок, леса никогда не бойся. Лес живой, он всё чувствует. Кто к нему со страхом али с подлостью идет, того он закружит, в топь сведет, гнилушкой привалит. А если ты к нему с уважением да с понятием, он тебя и накормит, и от беды спрячет, и рану любую залижет. В нем всё для жизни есть: и корень сытный, и лист кровяной, и вода чистая. Глав-

ное, язык его не забывает».

Иван Тимофеевич резко остановился, прерывая мысли сына. Там, где кабанья тропа ныряла под низко нависшие лапы старой ели, между двумя стволами поблескивала тусклая петля. Стальной тросик, явно ворованный где-то на машинно-тракторной станции, был грубо прикручен к вбитому в землю дубовому колу. Лицо старого лесника потемнело от безгливости.

— Паскудство, — глухо обронил он, снимая с пояса топор. — Разве ж это охотник? Ворье безрукое. Угодит подсвинок в такую удавку, так ведь не задохнется сразу, только сухожилия себе до кости перережет да сгниет заживо в кустах.

Отец не стал рубить металл лезвием, чтобы не портить каленое жало топора. Перевернув топорище, он двумя тяжелыми, глухими ударами обуха расщепил и выбил из земли дубовый кол. Затем ловкими, узловатыми пальцами раскрутил жесткую скрутку, смотал стальной тросик в кольцо и сунул к себе в брезентовую сумку.

— В хозяйстве сгодится, — буркнул он. — А гостю этому мы на выходе с яра такую засеку оставим, что неделю будет портки от репьев да смолы отдирать.

К полудню, закончив обход, они вышли на свою любимую поляну у сухого ручья. Солнце стояло высоко, пробивая хвойный полог косыми, густыми столбами света, в которых лениво кружились золотые пылинки и мелкая мошкара. Уселись на поваленный, уже обросший бархатным зеленым

мхом сосновый ствол. Отец развязал сидор, расстелил на коленях чистую белую холстину и выложил нехитрую снедь: тяжелую краюху домашнего подового хлеба, пучок молодого зеленого лука и узелок с крупной серой солью. Ели не спеша, с тем молчаливым уважением к хлебу, которое в крестьянских семьях было законом. Хрустели сочными, злыми перьями лука, макая их в соль, запивали ключевой водой из отцовской баклажки, от которой ломило зубы.

После обеда Иван Тимофеевич оторвал полоску от сложенной вчетверо районной газеты, насыпал желто-зеленой махорки, свернул «козью ножку» и сладко затянулся, пуская сизый дымок под солнечный луч. А Дмитрий откинулся спиной на теплую сосновую валежину, заложил руки за голову и уставился в бездонное июньское небо. На душе было тихо и просторно. Двадцать восемь лет. Руки и ноги целы, работа по сердцу, отец с матерью живы и здоровы. А главное, на краю села, в крайней избе у самого леса, его ждала Аня. Его Анята.

Стоило подумать о ней, как внутри, под ребрами, разливалось мягкое тепло. До сих пор не верилось, что такая девушка досталась именно ему, молчуну и лесовику, который на сельских вечерках больше за гармонистом в тени отсиживался. Она ведь сама тогда подошла. В белом ситцевом платочке, глаза смеются, а в голосе звенят колокольчики: «Что ж ты, Дима, сосны свои сторожишь, а меня украсть боишься?» Осенью сыграли свадьбу. А по весне они с отцом срубили

для молодых отдельный дом на выселках, у самой опушки. Изба вышла ладная, светлая, стены внутри до сих пор плакали прозрачной янтарной смолой и пахли свежим тесом.

Домой Дмитрий возвращался уже на закате, когда тени от сосен вытянулись через всё поле, достав до самых плетней Верхнего Икорца. Анна возилась в огороде, подвязывая рядки пошедших в рост помидоров. Услышав щелчок калитки, она выпрямилась, тыльной стороной ладони, перепачканной в сухой земле, отвела со лба выбившуюся русую прядь и улыбнулась. От одной этой улыбки вся дневная усталость в ногах пропала, будто ее и не бывало.

— Пришел, леший мой? — ласково спросила она, когда он подошел сзади и осторожно, чтобы не помять, обнял ее за плечи.

Дмитрий уткнулся носом в ее шею, прямо в теплую ложбинку у ключицы, где темнела маленькая, с булавочную головку, родинка. От Анны пахло солнцем, растертой помидорной ботвой, укропом и чуть-чуть парным молоком и домашним полынным мылом.

— Пришел, — выдохнул он. — С отцом петли на кабаньем лазу снимали. Батя тебе у ручья земляники кулек набрал, велел передать, чтоб внуков скорее рожала.

— Ох уж этот мне свекор, — вспыхнула она, пряча счастливые глаза, и легонько толкнула его в грудь. — Иди умывайся, работник. Рукомойник полный.

Поднимаясь в сени, Дмитрий наступил на третью ступень-

ку крыльца, и та вдруг протяжно, жалобно скрипнула, потому что доска немного рассохлась на июньской жаре.

— Слышишь, хозяин? — тут же отозвалась с грядок Анна. — Опять третья ступенька поет. За версту слышно, как ты с обхода крадешься. Обещал же еще с Троицы гвоздем прихватить!

— Завтра с утра прихвачу, Анюта. Вот крест святой, первым делом молоток возьму, — виновато улыбнулся Дмитрий.

В избе было прохладно и чисто, пахло сушеной мятой за образами и только что вымытыми с дресвой некрашеными полами. Анна поставила на стол пузатый глиняный горшок, только что вынутый ухватом из зева русской печи. Густые, томленные щи с молодой крапивой и зажаркой из старого сала дымились так, что слюна набегала мгновенно. Они ужинали при открытом окне, перебрасываясь простыми, негромкими словами: о том, что у соседей отелилась пеструха, что трава в этом году в лугах пошла густая и к Петрову дню надо бы отбить литовку под сенокос.

А когда совсем стемнело и на чернильное небо высыпали крупные июньские звезды, они вышли посидеть на зава-linkу. В траве за плетнем надрывались кузнечики. Анна сидела, прижавшись щекой к его твердому плечу, и Дмитрий чувствовал под тонким ситцем кофточки ровное, спокойное биение ее сердца. Вдруг далеко на западе, там, где за черной стеной леса угадывалась степь, край неба беззвучно и рвано

мигнул тяжелым, багровым светом. Анна вздрогнула и плотнее прижалась к мужу:

— Глянь-ка, Дима... Гроза, что ли, заходит? А ведь ни единой тучки над головой, и духота какая...

Дмитрий посмотрел на запад. Небо там снова было черным и немым, будто ничего и не случилось.

— Да какая ж то гроза, глупая, — тихо сказал он, накрывая ее узкую ладонь своей широкой, шершавой рукой. — То зарницы играют. Хлеба в степи зреют. Спи спокойно, до нас оно не дойдет.

Анна доверчиво вздохнула и закрыла глаза. А Дмитрий еще долго смотрел в темную пустоту над западным краем бора. Там, за горизонтом, снова беззвучно полыхнуло, глухо и тревожно, точно от далекого орудийного залпа. И почему-то в эту теплую июньскую ночь по спине лесника вдруг пробежал чужой, колючий холодок.

Глава 2. Железный бор

Начало октября 1943 года. Западнее Смоленска, на подступах к белорусским болотам.

Этот лес пах смертью. Здесь, в промозглой, гниющей сырости сорок третьего года, знакомый с детства дух хвои и мокрой земли был намертво перебит чужими, ядовитыми запахами. От черного, изломанного мелколесья тянуло сладковатой гарью спаленной еще в сентябре деревни, кислым сукном пропотевших шинелей, мокрой махоркой и тяжелым, приторным трупным духом непогребенных тел с нейтральной полосы.

Но сильнее всего от этой земли несло толом, горьким миндальным ядом сгоревшей взрывчатки, и холодным, ржавым железом. Железом тут было напиговано всё. Оно торчало зазубренными осколками в стволах вековых сосен, которые плакали теперь не светлой янтарной живицей, а черной копотью. Оно валялось в воронках искореженными траками, стреляными гильзами, рваной колючей проволокой. И оно же, слепое, смазанное пушечным салом и взведенное на боевой взвод, таилось под прелым листом, поджидая человеческую ступню.

Дмитрий лежал на животе, распластавшись в ледяной хляби. Жидкая глинистая грязь давно пропитала брезент плащ-палатки, ватник и гимнастерку, добравшись до самой

кожи. С низкого, набрякшего неба сеял мелкий, нудный дождь вперемишку с первой снежной крупой. Ледяные капли стучали по каске, затекали за шиворот, но младший сержант Яблочкин их не замечал. Весь его мир сузился сейчас до тонкого стального прута саперного щупа.

Позади него, в десяти шагах, в старой снарядной воронке затаилось его отделение. Дмитрий не видел ребят в предрассветной серой мгле, но спиной чувствовал их тяжелое, сдержанное дыхание. Там, положив широкую ладонь на приклад ручного пулемета, лежал ефрейтор Егор Кержак по прозвищу Сибиряк, сорокалетний кряжистый таежник из-под Красноярска, человек редкого спокойствия и медвежьей силы. Рядом с ним вжимался в глину рядовой Матвей Журба, или просто Балагур, жилистый чернявый парень с одесской Молдаванки, который даже у черта на рогах умудрялся прятать страх за кривой, дерзкой усмешкой.

А ближе всех к командиру лежал Коля Воробьев, Воробей. Совсем еще птенец, двадцать пятого года рождения, присланный с маршевой ротой неделю назад. Шея у Кольки в широком вороте казенной гимнастерки была тонкой, совсем мальчишеской, а огромные серые глаза на худом лице блестели от лихорадочного напряжения. Это был его первый выход на нейтралку.

Щуп вошел в раскисший суглинок под острым углом, плавно и мягко, как учили. Сантиметр. Еще один. И вдруг игла уперлась во что-то глухое, неживое. Опытный сапер ни-

когда не ткнет щупом так, чтобы звякнуло, ведь рука сама чувствует разницу. Лесной камень отдает в пальцы сухим, коротким стуком, сосновый корень слегка пружинит, а это было гладким, плотным и чужим. Металл.

Дмитрий замер. Даже дышать стал через раз, чтобы теплый пар изо рта не застилал глаза. Отложив щуп в сторону, он стащил с правой руки грубую брезентовую рукавицу: сапер у мины работает только голыми пальцами, иначе не почувствуешь натяжения проволоки. Задубевшими, посиневшими от стужи подушечками пальцев он начал по миллиметру сдвигать мокрый осиновый лист и жидкую грязь. Из черноты показались три тонких, похожих на вилку стальных усика, торчащих на сером граненом стебле. Это была «лягушка», немецкая выпрыгивающая «Шпренгмина-35».

Самая пакостная, самая подлая тварь из всех, что придумали германские инженеры, чтобы убивать пехоту. Заденешь ногой один из этих усиков, и она не просто рванет под подошвой. Сначала сработает вышибной пороховой заряд, тяжелая жестяная банка вылетит из земли на высоту человеческого пояса и уже там, в воздухе, разорвется, рассекая всё живое вокруг тремя сотнями стальных шрапнельных шариков. В двадцати шагах ни каска не спасет, ни ватник, человека просто изрешетит в кровавое сито.

Дмитрий осторожно обвел пальцами вокруг стебля. Грунт плотный, усики чистые, боковой проволоки нет. Теперь начиналось самое тонкое. Он повернул голову и одними губа-

ми, без звука, позвал Воробья к себе. Мальчишка пополз вперед, стараясь двигаться по-пластунски, как учили в запасном полку, но от страха всё равно звякнул пряжкой поясного ремня о каску. Дмитрий тут же тяжело положил ладонь ему на плечо, вдавливая в землю. Ждал минуту, слушая сырую тишину. С немецкой стороны, из-за черной гряды курстарника, взлетела осветительная ракета. Мертвенный, шипящий свет качнулся над болотом, осветив мокрые кочки, и погас. Пулеметы молчали. Когда снова стало темно, Дмитрий притянул голову Воробья к самой своей щеке. От пацана остро пахло кислым потом и тем особенным, холодным духом необстрелянного страха.

— Смотри сюда, Коля, — едва слышно, в самое ухо выдохнул Дмитрий. — Видишь три уса? А под ними в трубке крохотная дырочка. Сейчас мы с тобой туда чеку вставим, запрем ударник. Дергать ее кошкой нельзя, рванет так, что всю немецкую передовую разбудим и разведчикам поиск сорвем. Тут только руками. Рука дрогнет, и оба на соснах кровавыми ошметками повиснем. Понял меня?

Воробей судорожно сглотнул и кивнул. Подбородком он мелко стучал о воротник ватника.

— Дыши, птенец. Животом дыши, — тихо сказал Дмитрий, доставая из нагрудного кармана тонкую стальную шпильку на суровой нитке. — Страх как ржавая вода в омуте: пустишь его внутрь, он тебя на дно утянет. А ты его с воздухом выдыхай. Ну, с Богом...

Он сам не знал, откуда в нем брались эти спокойные, тяжелые слова. Наверное, так же когда-то говорил с ним отец, когда учил не пятиться при встрече с медведем-шатунном. Законы родного бора и законы передовой оказались удивительно схожи: здесь выживал не самый резвый, а самый терпеливый и зрячий. Затаив дыхание, Дмитрий подвел острие шпильки к спасительной отверстию на взрывателе. Пальцы не дрожали, они словно окаменели, став продолжением металла.

Шпилька вошла туго, согребая засохшую глину, и показала с другой стороны. Путь ударнику был перекрыт. Дмитрий перевел дух, утер рукавом ледяной пот со лба и принялся по ниточке, против часовой стрелки, выкручивать трехрогий взрыватель. Ржавая резьба поддалась с еле слышным, сухим скрипом, от которого у Воробья зажмурились глаза. Через минуту взрыватель лег в карман шинели.

— Всё? — одними губами прошептал Колька.

— Кабы всё, — глухо отозвался Дмитрий. — Фриц хитрый. Мог под донце второй взрыватель поставить, на неизвлекаемость. Потянешь банку вверх, и поминай как звали.

Он осторожно, сантиметр за сантиметром, подкопал саперным ножом вязкую глину сбоку от металлического стакана мины. Запустил под самое дно онемевшие пальцы, нащупывая холодную жесть. Чисто. Ни провода, ни нижней чеки. Медленно, как спящую гадюку, Дмитрий вынул тяжелую, густо измазанную солидолом и грязью мину из гнезда и уло-

жил ее в стороне, присыпав для заметности белой березовой корой. Когда они отползли назад в воронку, к своим, Матвей Журба шумно выдохнул и, скаля в темноте белые зубы, зашептал:

— Ну ты, сержант, даешь... Я пока смотрел, три раза успел завещание мысленно переписать. Опять железные грибочки собираешь?

— Цыц, Одесса, — басовито, одним грудным гулом оборвал его Сибиряк, не отрывая взгляда от темного кустарника впереди. — Не на Привозе.

— А жаль, Егорушка, — не унимался Балагур, растирая затекшие колени. — На Привозе сейчас бы кефальку жарили, а не брюхом смоленскую глину утюжили...

— Кончай базар, — тихо скомандовал Дмитрий, поправляя за спиной ремень ППШ, плотно притянутый к ватнику, чтобы не брякал при ползании. — Коридор чистый, но впереди еще метров восемьдесят до немецкого проволочного заграждения. Балагур, вешки ставь по левому краю. Сибиряк, ползи за мной в пяти шагах. Воробей, гляди мне в пятки, ступай след в след. Пошли.

Они двинулись дальше, растворяясь в мокром предрасветном тумане, как серые тени. Дмитрий полз первым. Здесь, среди изуродованных войной деревьев, он не просто искал мины, он читал лес, как читал его когда-то с отцом под Верхним Икорцем. Только вместо кабаньих лазов и заячьих петель перед ним была другая грамота. Его глаз сам со-

бой цеплялся за малейшую фальшь: вот пучок жухлой осоки примят не по ветру, а поперек; вот на срезе старого пня темнеет свежая царапина от кованого немецкого каблука; вот ком земли у корня лежит вверх сухой изнанкой.

У густого куста орешника Дмитрий резко выбросил назад раскрытую ладонь, приказывая остановиться. Балагур, ползший следом, замер с поднятой ногой. Дмитрий молча ткнул кончиком ножа в мокрую траву в вершке от его колена. Между двумя стеблями папоротника, почти сливаясь с дождевой сыростью, была натянута тончайшая, выкрашенная в темно-зеленый цвет стальная струна. Она вела к прикрученной к колышку шрапнельной мине. Балагур сглотнул, перекрестился мелким, торопливым крестом и прошептал одними губами:

— Командир, ты точно крещеный? Ты ж ее в потемках не глазами, ты ее нутром чувствуешь. Чистый леший...

— Под ноги гляди, балаболка, — беззлобно выдохнул Дмитрий, перекусывая ослабленную струну кусачками. — Леший твои кишки с кустов потом собирать не нанимался.

До края открытой лесной поляны, где саперы должны были оставить последний ориентир для полковой разведки, оставалось не больше тридцати метров. Уже начинало сереть. Наступало самое гиблое, зыбкое время перед рассветом, когда глаз слепнет, а туман стелется по самой земле. И вдруг Дмитрий остановился так резко, что ползший сзади Воробей ткнулся каской ему в подошвы сапог. Сержант под-

нял голову, вслушиваясь в сырую тишину.

— Что там? — беззвучно шевельнул губами Сибиряк, пододвигая ближе тяжелый диск «дегтяря».

— Сойка... — еле слышно ответил Дмитрий.

Балагур хотел было привычно хмыкнуть, но осекся, увидев каменно-серьезное лицо командира. В отделении все давно усвоили: если Яблочкин слушает птицу, жди беды.

— В ельнике сорвалась, — прошептал Дмитрий, вжимаясь подбородком в холодную грязь. — Кричит резко, с надрывом. Зверя она так не пугается. Человек там идет. В землю, ребята. Не дышать.

Они распластались в старой, заросшей бурьяном канаве, накрывшись скользкими от дождя плащ-палатками. Стали частью кочек, частью прелой листвы и гнилого валежника. Тянулись минуты, вязкие и бесконечные. Холодная вода под животом уже согрелась от тела, а ноги в мокрых портянках свело ледяной судорогой. И тут из сизого тумана на край поляны выступили немцы. Это был секрет, менявшийся перед рассветом: четверо солдат в пятнистых, блестящих от сырости плащ-накидках и глубоких, надвинутых на самые брови рогатых касках. Шли они гуськом, не особо таясь, уверенные, что перед ними лежит сплошное минное поле, куда русские сунуться не посмеют.

Они прошли в пятнадцати шагах от канавы. Так близко, что Дмитрий слышал, как чавкают их подкованные сапоги, как глухо звякает амуниция и поскрипывает кожа ремней.

Ветер донес с поляны чужой, сладковатый дух сигаретного дыма и эрзац-кофе. Один из немцев кашлянул, глухо, по-стариковски, и выругался сквозь зубы на проклятую русскую сырость. У Воробья под боком Дмитрия так колотилось сердце, что казалось, этот стук отдается в самой земле. Дмитрий крепко, до боли сжал запястье мальчишки, приказывая терпеть.

Серые фигуры растворились в ельнике. Еще через полчаса, когда по расчищенному коридору бесшумно, точно призраки в пятнистых маскахалатах, проскользнула группа полковых разведчиков, отделение Яблочкина наконец получило приказ на отход.

Обратно в свою траншею они скатились уже совсем светлым осенним утром. Передовая встретила их привычной руганью пехотинцев, запахом ружейного масла и глины. Свалившись на узкое, высланное еловым лапником дно окопа, бойцы долго не могли вымолвить ни слова. Напряжение ночного поиска отпускало медленно, оставляя после себя свинцовую, выкручивающую суставы пустоту. Воробей сидел, привалившись спиной к бревенчатой обшивке траншеи, и смотрел на свои перепачканные в черной грязи ладони, которые ходили ходуном от запоздалой дрожи.

— Спасибо, товарищ младший сержант, — глухо, срывающимся голосом сказал он. — Я там, у этой «лягушки»... я ведь думал, что всё, убьет.

— Привыкай, Коля, — устало ответил Дмитрий, сни-

мая тяжелую мокрую каску и проводя пятерней по коротко остриженным, влажным от пота волосам. — Наше дело саперное тихое. Главное, уши открытыми держи. Не только приказы слушай, а и лес. Даже такой, раненый да железный, он всё равно свой. Он завсегда предупредит.

Когда ребята потянулись по ходу сообщения в сторону ротной кухни разжиться кипятком, Дмитрий остался в стрелковой ячейке один. Расстегнув промокший ватник, он бережно, двумя пальцами достал из нагрудного кармана гимнастерки сложенный вчетверо, потертый на сгибах бумажный треугольник. Письмо от Анны пришло две недели назад. Бумага давно пропиталась фронтовым бытом, пахла махоркой, потом и соляжкой. Дмитрий знал каждую строчку наизусть: о том, что картошка в этом году уродилась крупная, что свекор Иван Тимофеевич всё так же пропадает на делянках в Хреновском бору, а она сама работает от зари до зари в колхозе, ждет его и каждую ночь молится, чтобы смерть обошла его стороной.

Дмитрий поднес измятый листок к самым губам, закрыл глаза и глубоко вдохнул. И сквозь гарь, сквозь кислую вонь окопной глины и тротила ему вдруг ясно, до боли под сердцем, почудился тот самый далекий запах из тридцать восьмого года: запах нагретого солнцем укропа, чистой горницы и домашнего полынного мыла на ее теплой шее. Он посмотрел поверх глиняного бруствера на угрюмый, окутанный дымом и туманом смоленский лес. Этот бор был чужим и страш-

ным. Но путь домой, в его солнечный сосновый край, лежал только через него. Насквозь.

Глава 3. Последнее задание

В свою землянку они добрались только в сумерках, когда над передовой потянуло вечерним морозцем. Низкое, врытое в глинистый скат оврага убежище в два наката сосновых бревен встретило их густым, спертым духом жилья: пахло прелой хвоей, мокрой овчиной, махорочным дымом и раскаленной жестью печки-буржуйки, сделанной из трофейной бочки. Сил ни у кого не осталось. Сбросив промокшие плащ-палатки и тяжелые подсумки, бойцы молча повалились на узкие бревенчатые нары. Дмитрий поставил в горячую золу под печкой закопченный котелок и разделил на четверых сегодняшний ужин: густую перловую кашу из концентрата, сдобренную банкой американской тушенки.

Колька Воробьев ел жадно, обжигаясь и глотая куски почти не жуя. Глаза у мальчишки слипались. Едва выскребя ложкой свою долю со дна котелка, он тут же повалился на бок, подтянул колени к подбородку и провалился в тяжелый, тревожный сон, изредка вздрагивая худыми плечами и что-то бормоча пересохшими губами. Егор Кержак крикнул, укрыл пацана поверх ватника полрой своей шинели и подсел ближе к печной дверце. Во время утреннего отхода Сибиряк зацепился рукавом телогрейки за немецкую спираль Бруно, и теперь из рваной прорехи торчала серая вата. Достав из-за отворота своей шапки-ушанки длинную, граненую цыган-

скую иглу с намотанной на нее суровой дратвой, он принял-ся неторопливо, крупными и крепкими стежками сшивать сукно.

— Ишь ты, Егорушка, прямо портной с Дерибасовской, — вполголоса усмехнулся из своего угла Матвей Журба, разминая в тонких пальцах самокрутку.

— Смейся, Одесса, смейся, — глухо пробасил Сибиряк, перекусывая зубами крепкую нитку и бережно втыкая иглу обратно под козырек шапки, прямо под красноармейскую звездочку. — Меня еще дед в тайге учил, что охотник да солдат без иголки как без рук. И обувку подшить, и прореху стянуть, а если прижмет, так и рану заштопать.

Балагур чиркнул колесиком своей трофейной зажигалки, смастеренной из немецкой винтовочной гильзы. Бензин в ней почти выдохся, поэтому фитиль вспыхнул не с первого раза, высекая в полумраке снопы колючих искр и на миг высвечивая острое, похудевшее лицо одессита.

— Как думаешь, командир, долго мы еще в этой грязи квакать будем? — спросил Матвей, жадно затягиваясь дымом. — Я с местными «лягушками» уже почти сроднился. Сегодня утром одна мне всеми тремя усиками подмигивала. Эх, махнуть бы сейчас к нам на Молдаванку... Или в Аркадию, на камушки. Я бы фрицам такой «привоз» устроил, что они бы сами в Черном море утопились.

— Успеешь еще накупаться, — отозвался Сибиряк, закрывая глаза. — Тут впереди до самой Белоруссии сплош-

ные топи. Наплаваемся по самое горло.

Дмитрий в их негромкую перепалку не встревал. Устроившись у тусклой коптилки из сплющенного снарядного стакана, он разбирал свой ППШ. Работа эта, привычная и размеренная, успокаивала лучше всяких слов. Он насухо вытер ветошью тяжелый затвор, смазал ружейным маслом направляющие, а затем долго и придирчиво проверял круглый барабанный диск на семьдесят один патрон. Пружина в диске была делом капризным: попадет песчинка или ослабнет завод, и в самый жаркий миг перекосит патрон. Руки делали свое дело, а мысли всё возвращались к тому лесу, из которого они выползли утром. Не давал он Дмитрию покоя. Чужой он был, замученный. Земля под корнями вздыблена, вода в ручьях горчит ржавчиной и порохом.

Внезапно брезентовый полог на входе резко откинулся, впустив в землянку клуб холодного пара, и на ступеньках показался запыхавшийся связной из штаба батальона.

— Младший сержант Яблочкин! — выдохнул он, отряхивая со шлема мокрый снег. — К комбату. Бегом! И отделение свое подымай, при полном снаряжении.

Внутри у Дмитрия что-то глухо оборвалось. Вызов к командиру батальона на ночь глядя, да еще всем отделением, никогда ничего легкого не сулил. Сибиряк и Балагур уже молча натягивали ремни. Дмитрий подошел к нарам и осторожно тронул за плечо Воробья:

— Вставай, Коля. Подъем.

Мальчишка вскочил как ужаленный, слепо шаря руками по доскам и хватаясь за цевье карабина.

Штабная землянка, срубленная в три наката в глубине балки, была жарко натоплена и ярко освещена аккумулятором от радиации. Командир батальона майор Седых сидел за столом из неструганых снарядных ящиков, тяжело навалившись грудью на развернутую двухверстку. Лицо у майора было землисто-серым от многодневного недосыпа, под глазами залегли темные мешки. Рядом с ним, заложив руки за спину, стоял незнакомый сухощавый капитан в чистой, ладно пригнанной гимнастерке, прибывший из разведотдела дивизии.

— Проходи, Яблочкин, — глухо сказал комбат, не поднимая головы от карты. — И людей своих ставь ближе к свету. Дело есть. Особой важности.

Саперы выстроились у входа, оставляя на дощатом полу темные лужицы от растаявшей на сапогах грязи. Капитан-разведчик шагнул к столу и сухо, точно гвозди вбивал, ткнул остро отточенным синим карандашом в тонкую черную нитку железной дороги.

— Слушать внимательно. Противник усиленно перебрасывает резервы и боеприпасы по рокадной ветке на Витебском направлении. Авиация достать их не может, уже третьи сутки держится сплошная облачность. Вот на этом участке, — карандаш очертил изгиб дороги, — полотно выходит из леса на высокую песчаную насыпь посреди торфяного болота. Обойти это место немцы не могут, дублирующих путей

нет.

— Подорвать надо? — коротко спросил сзади Сибиряк.

— Не просто подорвать, — капитан поднял на него холодные, цепкие глаза. — Если вы просто перебьете рельс на прямом участке, немецкие ремонтные команды заменят его за два часа. Задача вашей группы: скрытно пройти в тактический тыл противника, день вести наблюдение, засечь график движения эшелонов и смену охраны. А ночью заложить заряд на самом изгибе насыпи. Так, чтобы тяжелый состав на полном ходу ушел под откос прямо в трясину. Это закупорит ветку минимум на трое суток.

Майор Седых тяжело вздохнул и посмотрел на Дмитрия:

— Глубина около двенадцати километров от переднего края, Дима. Места там гиблые, леса продуваются охранными ротами и полевой жандармерией. Насыпь наверняка под присмотром. Послать большую группу нельзя, потому что ее быстро обнаружат на подходах. Проскочить может только маленькое звено. Те, кто умеет ходить по лесу без шума и работать со взрывчаткой с закрытыми глазами. Выбор пал на вас.

Балагур за плечом Дмитрия едва слышно хмыкнул в нос. Яблочкин и сам знал эту нехитрую фронтовую арифметику: лучших всегда посылают туда, откуда возвращаются через раз.

— Сколько времени на всё, товарищ капитан? — спросил Дмитрий.

— Двое суток, младший сержант, — отрезал разведчик.
— Этой ночью переходите линию фронта через «гнилой угол» у Белого ручья. К рассвету выходите к насыпи. День лежите в болоте, считаете поезда. В следующую полночь рвете полотно и сразу уходите назад. К утру вторых суток наши минометчики пошумят на фланге, встретят вас огнем. Вопросы есть?

— Никак нет. Всё ясно.

— Тогда ступайте к старшине. Получите тол, взрыватели нажимного действия, сухпай и патроны под завязку. Документы, красноармейские книжки и письма сдать мне в сейф, — сказал майор Седых. А когда бойцы уже взялись за скобу двери, глухо окликнул: — И вот что, Яблочкин... Ты за них головой отвечаешь. Сделай дело. И людей мне верни. Всех четверых.

Дмитрий молча приложил руку к шапке и шагнул в темноту.

Собирались молча, в той особенной, сосредоточенной тишине, какая бывает только перед уходом за передний край. Балагур больше не шутил. Нахмутив черные брови, он аккуратно укладывал на дно своего вещмешка желтовато-серые, похожие на куски казенного мыла четырехсотграммовые тротилловые шашки, перекладывая их сухой паклей, чтобы не стучали друг о друга. Сибиряк, положив на колени тяжелые диски к своему «дегтярю», проверял каждый патрон на ощупь, прежде чем загнать его под пружину. Колька

Воробьев, стараясь не смотреть товарищам в глаза, пытался впихнуть в свой разбухший от тола сидор лишнюю полбуханки ржаного хлеба, но горловина мешка никак не затягивалась.

Дмитрий подошел к нему и мягко забрал хлеб из тонких, вздрагивающих рук:

— Оставь, Коля. В поиске каждый фунт к земле тянет. Возьми лучше два лишних пакета индивидуальных да пачку патронов россыпью в карман ссыпь. Хлеб мы тут, когда вернемся, доедим.

Отойдя к тусклой коптилке, Дмитрий достал из внутреннего кармана гимнастерки всё, что нужно было сдать комбату: красноармейскую книжку, письма от дома и маленькую, с ладонь, фотографию Анны, завернутую от сырости в промасленную восковку. Карточку эту они сделали в райцентре еще до войны, весной сорокового. Анна смотрела с нее чуть испуганно, но светло, прижав к груди краешек белого платка. Дмитрий долго вглядывался в знакомые до последней черточки губы, в светлые брови, стараясь впечатать этот взгляд себе под веки. Сдавать карточку майору он не стал, а тихонько сунул обратно в потайной кармашек у самого сердца. Пусть будет нарушение устава, но без нее в немецкий тыл он идти не мог. Мысленно он всегда прощался с Анной перед каждым выходом. Так на войне было проще: посчитаешь себя заранее убитым, отпустишь страх, и тогда каждый новый вздох, каждый сделанный шаг идут тебе чистым подарком.

— Готовы? — негромко спросил он, затягивая потуже поясной ремень с тяжелыми гранатами Ф-1 и ножнами саперного ножа. — Тогда с Богом.

Линию фронта переползали в самую глухую пору, около двух часов ночи, через «гнилой угол», топкую, заросшую черной ольхой низину на стыке двух немецких батальонов. Сплошных окопов здесь не было ни у наших, ни у фрицев: копни на штык, и яму тут же заливает ледяной болотной ржавчиной. Но немцы густо заплели топь спиралями колючки с навешанными на нее пустыми консервными банками и держали на буграх пулеметные гнезда. Ползли больше часа по-пластунски, не поднимая головы, раздвигая грудью жидкую ледяную кашу. Дважды над низиной с шипением вспыхивали немецкие «люстры», осветительные ракеты на парашютах. Тогда все четверо замирали, вдавливая лица в вонючую жижу, пока белый качающийся свет не догорал в тумане и не смолкала короткая, нервная очередь дежурного «МГ-42», наугад прошивавшего кусты.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.